

Александр Иванович
Герцен

БЫЛОЕ И ДУМЫ

III

МЕМОУАРЫ

Москва, 2018

УДК 82-94
ББК 83.3(2Рос=Рус)
Г41

Герцен, А. И.

Г41 Былое и думы III / А. И. Герцен. – М. : Т8RUGRAM, 2018. – 310 с.

ISBN 978-5-521-07338-2

Александр Иванович Герцен (1812–1870) – публицист, писатель, философ XIX века, либерал, сторонник революционных преобразований, один из виднейших критиков официальной идеологии и политики Российской империи.

«Былое и думы» – автобиографический роман, над которым автор работал почти шестнадцать лет, был признан мировым шедевром мемуарной литературы. Герцену удалось блестяще изобразить образ русского революционера, а также составить настоящую энциклопедию, отражающую быт, нравы и общественную жизнь России середины XIX века. Эта книга позволит читателю переосмыслить свою жизнь и получить ответы на многие важные вопросы.

УДК 82-94
ББК 83.3(2Рос=Рус)
BIC FC
BISAC FIC000000

ISBN 978-5-521-07338-2

© Т8RUGRAM, 2018

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Москва, Петербург
и Новгород
1840—1847

ГЛАВА I

Диссонанс. — Новый круг. — Отчаянный гегелизм. — В. Белинский, М. Бакунин и пр. — Ссора с Белинским и мир. — Новгородские споры с дамой. — Круг Станкевича.

В начале 1840 года расстались мы с Владимиром, с бедной, узенькой Клязьмой. Я покидал наш венчальный городок с щемящим сердцем и страхом; я предвидел, что той простой, глубокой внутренней жизни не будет больше и что придется подвязать много парусов.

Не повторятся больше наши долгие одинокие прогулки за городом, где, потерянные между лугов, мы так ясно чувствовали и весну природы и нашу весну...

Не повторятся зимние вечера, в которые, сидя близко друг к другу, мы закрывали книгу и слушали скрип пошевной и звон бубенчиков, напоминавший нам то 3 марта 1838, то нашу поездку 9 мая...

Не повторятся!

...На сколько ладов и как давно люди знают и твердят, что «жизни май цветет один раз и не больше», а все же июнь совершеннолетия, с своей страдной работой, с своим щебнем на дороге, берет человека врасплох. Юность невнимательно несется в какой-то алгебре идей, чувств и стремлений, частное мало занимает, мало бьет — а тут любовь, найдено неизвестное, все свелось на одно лицо, прошло через него, им становится всеобщее дорого, им изящное красиво; постороннее и тут не бьет: они даны друг другу — кругом хоть трава не расти!

А она растет себе с крапивой и репейником и рано или поздно начинает жечь и цепляться. Мы знали, что Владимира с

собой не увезем, а все же думали, что май еще не прошел. Мне казалось даже, что, возвращаясь в Москву, я снова возвращаюсь в университетский период. Вся обстановка поддерживала меня в этом. Тот же дом, та же мебель — вот комната, где, запершись с Огаревым, мы конспирировали в двух шагах от Сенатора и моего отца, да вот и он сам, мой отец, состаревшийся и сторбившийся, но так же готовый меня журить за то, что поздно воротился домой. «Кто-то завтра читает лекции? Когда репетиция? Из университета зайду к Огареву»... Это 1833 год!

Огарев в самом деле был налицо.

Ему был разрешен въезд в Москву за несколько месяцев прежде меня. Дом его снова сделался средоточием, в котором встречались старые и новые друзья. И несмотря на то, что прежнего единства не было, все симпатично окружало его.

Огарев, как мы уже имели случай заметить, был одарен особой магнитностью, женственной способностью притяжения. Без всякой видимой причины к таким людям льнут, пристают другие; они согревают, связуют, успокоивают их, они — открытый стол, за который садится каждый, возобновляет силы, отдыхает, становится бодрее, покойнее и идет прочь — другом.

Знакомые поглощали у него много времени, он страдал от этого иногда, но дверей своих не запирает, а встречал каждого кроткой улыбкой. Многие находили в этом большую слабость. Да, время уходило, терялось, но приобреталась любовь не только близких людей, но посторонних, слабых; ведь и это стоит чтения и других занятий!

Я никогда толком не мог понять, как это обвиняют людей вроде Огарева в праздности. Точка зрения фабрик и рабочих домов вряд ли идет сюда. Помню я, что еще во времена студентские мы раз сидели с Вадимом за рейнвейном, он становился мрачнее и мрачнее и вдруг, со слезами на глазах, повто-

рил слова Дон-Карлоса, повторившего, в свою очередь, слова Юлия Цезаря: «Двадцать три года, и ничего не сделано для бессмертия!» Его это так огорчило, что он изо всей силы ударил ладонью по зеленой рюмке и глубоко разрезал себе руку. Все это так, но ни Цезарь, ни Дон-Карлос с Позой, ни мы с Вадимом не объяснили, для чего же нужно что-нибудь делать для бессмертия. Есть дело, надобно его и сделать, а как же это делать для дела или в знак памяти роду человеческому?

Все это что-то смутно; да и что такое дело?

Дело, business¹... Чиновники знают только гражданские и уголовные дела, купец считает делом одну торговлю, военные называют делом шагать по-журавлиному и вооружаться с ног до головы в мирное время. По-моему, служить связью, центром целого круга людей — огромное дело, особенно в обществе разобщенном и скованном. Меня никто не упрекал в праздности, кое-что из сделанного мною нравилось многим; а знают ли, сколько во всем, сделанном мною, отразились наши беседы, наши споры, ночи, которые мы праздно бродили по улицам и полям или еще более праздно проводили за бокалом вина?

...Но вскоре потянул и в этой среде воздух, напомнивший, что весна прошла. Когда улеглась радость свиданий и миновались пиры, когда главное было пересказано и приходилось продолжать путь, мы увидели, что той беззаботной, светлой жизни, которую мы искали по воспоминаниям, нет больше в нашем круге и особенно в доме Огарева. Шумели друзья, кипели споры, лилось иногда вино — но не весело, не так весело, как прежде. У всех была задняя мысль, недомолвка; чувствовалась какая-то натяжка; печально смотрел Огарев, и Кетчер зловеще поднимал брови. Посторонняя нота звучала в нашем

¹ дело, занятие (англ.).

аккорде вопиющим диссонансом; всей теплоты, всей дружбы Огарева не доставало, чтоб заглушить ее.

То, чего я опасался за год перед тем, то случилось, и хуже, чем я думал.

Отец Огарева умер в 1838; незадолго до его смерти он женился. Весть о его женитьбе испугала меня — все это случилось как-то скоро и неожиданно. Слухи об его жене, доходившие до меня, не совсем были в ее пользу; он писал с восторгом и был счастлив, — ему я больше верил, но все же боялся.

В начале 1839 года они приехали на несколько дней во Владимир. Мы тут увиделись в первый раз после того, как аудитор Оранский нам читал приговор. Тут было не до разбора, помню только, что в первые минуты ее голос провел нехорошо по моему сердцу; но и это минутное впечатление исчезло в ярком свете радости. Да, это были те дни полноты и личного счастья, в которые человек, не подозревая, касается высшего предела, последнего края личного счастья. Ни тени черного воспоминания, ни малейшего темного предчувствия — молодость, дружба, любовь, избыток сил, энергии, здоровья и бесконечная дорога впереди. Самое мистическое настроение, которое еще не проходило тогда, придавало праздничную торжественность нашему свиданию, как колокольный звон, певчие и зажженные паникадила.

У меня в комнате, на одном столе, стояло небольшое чугунное распятие.

— На колени! — сказал Огарев, — и поблагодарим за то, что мы все четверо вместе!

Мы стали на колени возле него и, обтирая слезы, обнялись. Но одному из четырех вряд нужно ли было их обтирать. Жена Огарева с некоторым удивлением смотрела на происходившее; я думал тогда, что это — *retenue*¹, но она сама сказала мне

¹ Сдержанность (франц.)

впоследствии, что сцена эта показалась ей натянутой, детской. Оно, пожалуй, и могло так показаться со стороны; но зачем же она смотрела со стороны, зачем она была так трезва в этом упоении, так совершеннолетняя в этой молодости? Огарев возвратился в свое имение, она поехала в Петербург хлопотать о его возвращении в Москву.

Через месяц она опять проезжала Владимиром — одна. Петербург и две-три аристократические гостиные вскружили ей голову. Ей хотелось внешнего блеска, ее тешило богатство. «Как-то сладит она с этим?» — думал я. Много бед могло развиться из такой противоположности вкусов. Но ей было ново и богатство, и Петербург, и салоны; может, это было минутное увлечение — она была умна, она любила Огарева — и я надеялся.

В Москве опасались, что это не так легко переработается в ней. Артистический и литературный круг довольно льстил ее самолюбию, но главное было направлено не туда. Она согласилась бы иметь при аристократическом салоне придел для художников и ученых и насильно увлекала Огарева в пустой мир, в котором он задыхался от скуки. Ближайшие друзья стали замечать это, и Кетчер, давно уже хмурившийся, грозно заявил свое veto¹. Вспыльчивая, самолюбивая и не привыкнутая себя обуздывать, она оскорбляла самолюбия, столько же раздражительные, как ее. Угловатые, несколько сухие манеры ее и насмешки, высказываемые тем голосом, который при первой встрече так странно провел мне по сердцу, вызвали резкий отпор. Побранившись месяца два с Кетчером, который, будучи прав в фонде², был постоянно не прав в форме, и восстановив против себя несколько человек, может, слишком

¹ запрет (лат.).

² сущности (франц. fond).

обидчивых по материальному положению, она наконец очутилась лицом к лицу со мной.

Меня она боялась. Во мне она хотела помериться и окончательно узнать, что возьмет верх — дружба или любовь, как будто им нужно было брать этот верх. Тут больше замешалось, чем желание поставить на своем в капризном споре; тут было сознание, что я всего сильнее противудействую ее видам, тут была завистливая ревность и женское властолюбие. С Кетчером она спорила до слез и перебранивалась, как злые дети бранятся, всякий день, но без ожесточения; на меня она смотрела бледнея и дрожа от ненависти. Она упрекала меня в разрушении ее счастья из самолюбивого притязания на исключительную дружбу Огарева, в отталкивающей гордости. Я чувствовал, что это несправедливо, и, в свою очередь, сделался жесток и беспощаден. Она сама признавалась мне, пять лет спустя, что ей приходила в голову мысль меня отравить, — вот до чего доходила ее ненависть. Она с Natalie раззнакомилась за ее любовь ко мне, за дружбу к ней всех наших.

Огарев страдал. Его никто не пощадил: ни она, ни я, ни другие. Мы выбрали грудь его (как он сам выразился в одном письме) «полем сражения» и не думали, что тот ли, другой ли одолевает, ему равно было больно. Он заклинал нас мириться, он старался смягчить угловатости — и мы мирились; но дико кричало оскорбленное самолюбие, и наболевшая обидчивость вспыхивала войной от одного слова. С ужасом видел Огарев, что все дорогое ему рушится, что женщине, которую он любил, не свята его святыня, что она чужая, — но не мог ее разлюбить. Мы были свои — но он с печалью видел, что и мы ни одной капли горечи не убавили в чаше, которую судьба поднесла ему. Он не мог грубо порвать узы *Naturgewalt*'а¹, связывавшего его с нею, ни крепкие узы симпатии, связывавшие снами; он во

¹ власти природы (нем.).